

ПОДЬЯЧИЙ ЕРШОВ • КНИГА 1

СМОТРИНЫ С ПОКОЙНИКОМ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВ

Aleksandr Demidov

Aleksandr Demidov

Смотрины с покойником

«Автор»

2026

Demidov A.

Смотрины с покойником / А. Demidov — «Автор», 2026

Казань, 1658 год. За одну не вовремя сказанную правду московский подьячий Тимофей Ершов отправлен искать беглых на Волге. Здесь ему охотно предлагают выгодную женитьбу. С поисками беглых помогают куда меньше. А потом в монастырской бане находят мёртвого стряпчего. Угорел своим небрежением — удобное объяснение устраивает всех. Только дверь подпёрта снаружи, а книжица, с которой покойный не расставался, исчезла. Ершов привык доверять бумагам. Но здесь свидетели торгуются, толмач знает больше, чем переводит, а люди, которые кормят сыщика пирогами и зовут на смотрины, слишком хорошо знают друг друга. За правильную отписку ему обещают возвращение в Москву. За настоящего убийцу никто ничего не обещает. Первое дело подьячего Ершова — исторический детектив с иронией, опасными знакомствами и правдой, за которую всегда платит кто-нибудь другой.

© Demidov A., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Пристань	6
Глава вторая. Почесть	10
Глава третья. Три «нет»	14
Глава четвёртая. Угорел	18
Глава пятая. Книжица	22
Глава шестая. Смотрины	26
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Aleksandr Demidov

Смотрины с покойником

Александр Демидов
Смотрины с покойником
Исторический детектив
Серия «Подъячий Ершов»
Книга первая

Глава первая. Пристань

Казань оказалась не там, где пристал струг.

Тимофей Ершов стоял на мокрых досках с сундучком у ног и смотрел туда, куда показывал кормщик: за луг, за кривую полосу ивняка, за серую дымку. Там, далеко, на горе что-то белело.

— Кремль, — сказал кормщик. — Отсюда вёрст с семь.

— Отчего ж мне в Москве не сказали?

— А кто ж в Москве знает, — рассудил кормщик и ушёл к своим мешкам.

Пристань была вовсе не пристань, а берег, утопанный до грязи. По нему ходили люди, и все разом кричали. Кто-то торговал рыбой прямо из лодки, кто-то сводил по сходням упирающуюся корову. Двое в мохнатых шапках спорили над кулём на языке, которого Ершов не понимал, а третий, русский, разнимал их по-русски, и его тоже не понимали. Пахло рыбой, дёгтем и мокрой овчиной. С реки тянуло холодом: сентябрь стоял на исходе.

Ершов был подьячий Разбойного приказа, тридцати пяти лет. При нём была грамота за дьячьей приписью: послан он в Казанский уезд для сыску беглых крестьян и холопей, и воеводам, и губным старостам, и всяким приказным людям чинить ему во всём помощь безо всякого мотчанья. Грамоту он вёз на груди, в кожаной сумке, и за двенадцать дней пути трогал её так часто, что сумка залоснилась.

Помощь эту, как он подозревал, станут чинить примерно так же, как корова сходилала со сходней.

В Казань его отправили за правду. По крайней мере, он для себя сделал такой вывод. Правда была простая: дьяк Посников на докладе у боярина прочёл в грамоте «сорок рублёв» там, где стояло «четыреста», и Ершов, стоявший за спиной с бумагами, поправил. Громко. При боярине. Боярин посмеялся, Посников тоже посмеялся. Через месяц Ершову дали эту грамоту, его стол в приказе отдали молодому Кузьмину, а когда он спросил, надолго ли едет, Посников ответил: «Как Бог даст».

— Барин! — Перед ним вырос мужик в рваном армяке, широкий, рыжебородый, с ремнём через плечо. — Барин, сундучок донесу. До телеги. Телеги вон там, наверху, сюда не спускаются, увязнут. Алтын.

— Какой я тебе барин.

— А кто ж ты? Кафтан суконный, сапоги не лапти. Барин. Алтын, говорю, и донесу.

— Две деньги.

Мужик поглядел на него с жалостью, как на больного.

— Барин. Тут до телег вон сколько. В горку. Грязь. Алтын — и то по-божески.

Ершов посмотрел на горку. Она была не большая, но вся в грязи, а сапоги у него были последние приличные.

— Пять денег, — сказал он. — И неси бережно. Там бумаги.

— Бумаги — это мы бережно, — обрадовался мужик, вскинул сундучок на плечо, будто тот ничего не весил, и пошёл вверх по склону.

Ершов пошёл за ним. Шёл он, правду сказать, не так проворно: под ногами чавкало, сапоги разъезжались, и приходилось глядеть вниз, чтобы не сесть в грязь при всём народе. Когда он поднял голову на середине подъёма, рыжего армяка впереди не было.

Был склон. Были телеги наверху, лошадь с мешком овса на морде, баба с корзиной. Сундучка не было.

Ершов постоял. Потом обернулся и оглядел пристань. Пристань жила своей жизнью и в его сторону не смотрела.

Всё, что он мог себе сказать, он сказал мысленно, коротко и неподбно. Сундучок был невелик. Два кафтана, рубахи, Псалтирь, отцовская медная чернильница, запас бумаги, перья, ножик. И наказная память к сыску, писанная в приказе на четырёх листах, с росписью беглых по прежним челобитным. Без неё его грамота стояла ровно столько, сколько стоит бумага.

Он почувствовал, что краснеет, и это разозлило его больше всего.

— Обронил чего, Тимофей Андреевич? — спросил за его спиной спокойный голос.

Ершов обернулся.

Перед ним стоял человек лет сорока пяти, невысокий, плотный, в добротном синем кафтане и в татарской шапке, отороченной лисой. Лицо круглое, бритое, с аккуратными усами, и в этом лице было столько приветливости, что ей хотелось не верить сразу.

— Ты кто таков? И откуда знаешь, как меня звать?

— Толмач приказной избы. Ибрагим. — Человек приложил ладонь к груди и тут же, словно спохватившись, перекрестился. — По святому крещению Василий. Зови как удобней, я на оба отзываюсь. Послан тебя встретить. Лаврентий Ильич Сукин послал, он при воеводе дела ведёт. Сказал: встретить московского сыщика, человек новый, места не знает. С утра стругов ждём, твой третий. — Он окинул взглядом склон, грязь и пустые руки Ершова. — Так что обронил?

— Сундук. Мужик взялся нести и пропал. Рыжий, в армяке.

— Рыжий, — повторил Ибрагим и вздохнул, будто речь шла о непослушном племяннике.

— С ремнём через плечо?

— С ремнём.

— Мишка. Мишку тут все знают. Мишка мешки носит, когда трезвый. А когда скучно ему, носит не туда.

— Так води меня к губному старосте. Пусть его возьмут, и сундук вернут, и...

— Можно и к губному, — согласился Ибрагим. — Губной у нас Фрол Игнатьевич, человек крепкий. Сегодня суббота, он после бани, потчевает. Завтра воскресенье, он у обедни. В понедельник челобитную твою примут, подьячий запишет. Во вторник пошлют искать. В среду найдут Мишку, а Мишка скажет: какой сундук, я в тот день на Арском поле был, вот и кум мой скажет, что был. Кума найдут в четверг. — Он развёл руками. — А сундук твой к тому времени уже в Свияжске будет, а бумага твоя — на растопке.

Ершов слушал и понимал, что толмач говорит правду. Это было хуже всего.

— А по-твоему как?

— По-моему, Мишку надо не искать, а знать, куда Мишка ходит. Мишка всякий сундук первым делом несёт к Мустафе-старьевщику, вон туда, к перевозу через протоку. Мустафа Мишке даёт за сундук гривну, а потом продаёт за полтину. Мы Мустафе дадим за сундук двадцать алтын, Мустафа будет рад, и Мишка не в обиде.

— Двадцать алтын! — Ершов задохнулся. — За мой же сундук! У вора выкупать мою же вещь?

— У вора выкупать нехорошо, — согласился Ибрагим. — У Мустафы выкупать. Мустафа не вор. Мустафа купил.

— Краденое.

— Мустафа не знал.

— Знал он.

— Знал, — легко согласился Ибрагим. — А в бумагах будет — не знал. Тимофей Андреевич, ты человек приказной, ты сам знаешь: что в бумагах записано, то и есть.

Ершов хотел ответить и не ответил. Возразить на это было нечего. Двадцать лет он сам так думал.

— Пятнадцать, — сказал он наконец.

Ибрагим посмотрел на него с новым уважением.

— Пятнадцать алтын Мустафе, — сказал он. — И мне четыре деньги. За труды.

— За какие труды?

— За разговор. По-русски Мустафа плохо понимает. Когда ему выгодно.

Лавка Мустафы оказалась навесом из жердей и рогожи у самой протоки. Под навесом лежало всё, что можно унести с пристани: хомуты, котлы, сапог без пары, медный таз с вмятиной, связка лаптей, ружейный замок, детская рубашонка, вышитая по вороту красным. Сам Мустафа, сухой старик с белой бородкой клином, сидел на перевёрнутом бочонке и чистил ногтем медную пряжку. Сундучок Ершова стоял у него за спиной, накрытый мешковиной. Из-под мешковины торчал угол с медной скобой.

Ершов шагнул к сундуку. Ибрагим мягко взял его за рукав.

Дальше был разговор, из которого Ершов не понял ни слова. Ибрагим говорил ласково и долго. Мустафа отвечал коротко и смотрел на Ершова. Ибрагим показывал рукой на реку, на небо, на Ершова и почему-то на кремль. Мустафа поднял глаза к навесу и что-то сказал, после чего оба засмеялись. Ершов стоял, как стоит человек на чужой свадьбе, где все пьют за кого-то, а за кого — не говорят.

— Что ты ему сказал?

— Сказал, что ты человек большой, московский, от самого государя.

— А он?

— Сказал, что от самого государя к нему каждую неделю кто-нибудь приезжает, и все без денег.

— А смеялись чему?

Ибрагим помедлил, будто выбирал, какую из правд отдать.

— Я сказал: у этого деньги есть, только он их считает долго.

Мустафа пожелал серебра, а не меди. Ершову пришлось развязывать на груди кошель, отворачиваясь к протоке, чтобы не показывать всему берегу, сколько у него там осталось. Осталось немного. Он отсчитал пятнадцать алтын на ладонь Ибрагиму. Ибрагим пересчитал, что-то сказал Мустафе, выслушал ответ и снова протянул ладонь.

— Ещё алтын.

— Ты сказал — пятнадцать.

— Я сказал — пятнадцать Мустафе за сундук. — Ибрагим кивнул на мешковину. — А мешковина его. Он говорит, за мешковину алтын.

Ершов посмотрел на мешковину. Она была старая, вся в дырах, и стояла, по совести, деньги, если не меньше.

— Мне не надо мешковины.

— Он говорит, сундук без мешковины не отдаёт. Сундук уже в мешковине.

Ершов отсчитал ещё алтын и отдал его, глядя не на Мустафу, а на Ибрагима. Ибрагим выдержал этот взгляд спокойно, как человек, которому смотрели в лицо и не такие.

Сундучок открыли тут же. Кафтаны лежали на месте. Псалтирь на месте. Чернильница. Перья. Ножик пропал. Наказная память, четыре листа, сложенная вчетверо, лежала сверху, и на ней отпечатался грязный след большой пятерни.

Ершов перечёл первую строку, будто за этот час в ней могли поменяться слова. Слова не поменялись.

— Ножик, — сказал он.

— Ножик, — повторил Ибрагим Мустафе.

Мустафа развёл руками и сказал что-то длинное.

— Говорит, ножика не было.

— Был. Костяной черенок, отцовский.

— Говорит, сундук пришёл без ножика. Может, Мишка взял.

— Спроси, сколько.

Ибрагим спросил. Мустафа подумал, полез куда-то под рогожу и достал ножик с костяным черенком.

— Две деньги, — сказал Ибрагим.

Ершов заплатил две деньги за собственный ножик и сунул его за голенище.

Телегу Ибрагим нашёл сам, со своим возницей, молчаливым мальчишкой в войлочной шапке. Сундучок поставили в передок, в мешковине. Ершов сел рядом и положил на крышку руку. Ибрагим устроился напротив, привалившись спиной к борту, и вид у него был такой довольный, будто солнце светило одному ему.

Поехали лугом. Дорогу развезло, телега шла медленно, переваливаясь. Белое пятно на горе росло и сначала стало стеной, потом башнями, потом главами собора над стеной. По правую руку тянулись огороды, низкие избы, дым. Вдалеке, за озером, стояла другая слобода, и оттуда тоже поднимался дым.

— Это что?

— Это Татарская слобода, — сказал Ибрагим. — За Кабаном. Там мои живут.

— Твои — это какие? Ты же крещён.

— Крещён, — согласился Ибрагим. — Матушка моя не крещена. Братья не крещены. Тётки, дядя. Жена не крещена. — Он подумал. — Дети как когда.

— Как это — как когда?

— Когда к воеводе идут, крещены. Когда к бабке, не крещены.

Ершов посмотрел на него внимательно, пытаясь понять, смеётся над ним толмач или нет. Понять не смог.

— А сам ты где живёшь?

— В городе. На посаде. У меня там двор. — Ибрагим приосанился. — И в слободе двор. Где удобнее, там и живу.

— По закону крещёный с некрещёными в одном дворе жить...

— А я и не живу в одном, — ответил Ибрагим. — У меня два.

Телега остановилась у ворот: перед ними стоял воз с сеном и не проезжал. Двое стрельцов, сидя на брёвнах у караулки, лениво смотрели, как возчик дёргает лошадь. Над воротами висела икона под маленьким тесовым навесом, и на навесе сидела ворона.

— Тимофей Андреевич, — сказал Ибрагим. — Лаврентий Ильич велел передать: ночевать тебе у него. Двор хороший, горница тёплая, баба ему стирает, тебе тоже будет стирать. Он сам и в избу тебя проводит, и к воеводе введёт. Человек он добрый. Сам когда-то, говорят, так же вот приехал.

— Как — так же?

— С сундуком.

Ершов посмотрел на ворота, на ворону, на руку свою на крышке сундука. Под рукой лежали четыре листа с отпечатком чужой пятерни. В кошеле было меньше, чем утром на струге, на шестнадцать алтын и две деньги серебром. И ещё четыре деньги за труды.

— Где ночевать, я сам найду, — сказал он.

— Сам найдёшь, — согласился Ибрагим. Воз с сеном наконец пролез в ворота, мальчишка тронул вожжи, и телега покатила под арку, в тень. — Показать, где искать, — две деньги.

Глава вторая. Почесть

Постоялый двор, который Ибрагим показал за две деньги, стоял у торгога, и клопы в нём были казанские, крупные, с понятием. За две ночи они нашли на Ершове всё, что можно было найти. Воскресенье он отстоял у обедни в соборе, чесался на всенощной и весь день ходил по городу, запоминая улицы. В понедельник утром он сидел на лавке в одной рубахе, считал в кошеле деньги и чесал щиколотку о край лавки.

Денег было меньше, чем хотелось бы. Кафтан, в котором он лез в горку, висел на гвозде, и подол у него до колена был серый от засохшей грязи. Другой кафтан, праздничный, лежал в сундуке. Ершов подумал, достал праздничный и надел. Идти к воеводе в грязи было нельзя. Идти в праздничном было глупо. Из двух глупостей он выбрал ту, что чище.

Приказная изба стояла в кремле, недалеко от собора, и ничем от московских не отличалась: та же низкая дверь, тот же запах сальных свечей, мокрых тулупов и чернил, те же челобитчики вдоль стены, мнущие шапки. Ершов вошёл и почувствовал себя почти дома. От этого стало ещё досаднее.

Ибрагим уже был здесь. Он сидел на лавке у печи, свежий, в том же синем кафтане, и пил что-то из деревянной чашки.

— Хорошо спал, Тимофей Андреевич?

— Хорошо.

— У Акулины на дворе клопы, — сочувственно сказал Ибрагим. — Я думал, ты к ней не пойдёшь.

— Ты сам меня к ней привёл.

— Ты просил показать, где ночевать. Я показал, где можно. А где хорошо, ты не спрашивал.

Ершов хотел ответить, но из глубины избы его позвали.

Воевода Фёдор Васильевич Бутурлин сидел в задней палате за столом, накрытым красным сукном, и читал. Был он немолод, грузен, с широкой седой бородой, и читал так, как читают люди, которым это занятие не по душе: далеко отставив лист, шевеля губами. За его плечом стоял дьяк, тощий, с птичьим лицом, и держал наготове следующий лист.

Ершов поклонился, подал грамоту. Воевода прочёл её вдвое быстрее, чем предыдущий лист, сложил и отдал дьяку.

— Беглых, значит, — сказал он.

— Беглых, Фёдор Васильевич. По челобитным московских и иных помещиков. В наказной памяти роспись...

— Знаю, знаю. — Воевода махнул рукой. — Присылают. Что ни год, присылают. Помощь тебе будет. Толмач будет, вот Ибрагим. Угол в избе будет. Подводы, коли надо, проси у дьяка. — Он помолчал. — Только беглых у нас нет.

Ершов не сразу понял.

— Как — нет?

— А так. — Воевода кивнул дьяку. Дьяк, не глядя, вынул из стопки на столе тетрадь и раскрыл её перед Ершовым. — Вот. Сыскные книги прежних лет. Сыскивали. Не нашли. Уезд большой, народ кругом разный, язык не наш, лес. А беглых — нет.

Ершов посмотрел в тетрадь. Почерк был ровный, хороший, и против каждого имени по росписи стояло одно и то же: «не сыскан», «не сыскан», «сошёл безвестно», «не сыскан».

— Это за какие годы?

— За разные, — сказал дьяк.

— Чей почерк?

Дьяк поднял на него птичьи глаза.

— Приказной, — сказал он.

Воевода уже снова читал свой лист. Разговор был окончен. Ершов поклонился его бороде и вышел.

В передней палате тем временем сталолюдно. У стола, где принимали челобитные, стоял человек в тёмной однорядке — невысокий, сутулый, с жидкой бородкой и с такими цепкими руками, что они, казалось, жили отдельно от него. Он что-то негромко говорил подьячему. Рядом с ним двое служек держали рогожный куль, из которого торчал серый осетровый хвост.

— Савватей, — шепнул Ибрагим, оказавшийся у Ершова за плечом. — Стряпчий с монастырского подворья. Монастырские дела в избе ведёт.

— А осётр?

— Осётр — воеводе. В почесть. — Ибрагим сказал это так, как говорят «к обеду».

Почесть Ершов знал. В Москве её тоже носили: к празднику, к именинам, когда просили по делу. Почесть, как он привык думать, давали за то, чтобы дело решили по закону и не тянули. Посул — за то, чтобы решили против закона. Сколько Ершов служил, граница между ними проходила там, где проводил её тот, кто брал.

Служки понесли куль в заднюю палату. Савватей проводил его взглядом, потом достал из-за пазухи небольшую книжицу в кожаном переплёте, раскрыл её на колене и, не садясь, записал несколько слов. Писал он быстро, мелко, привычно. Потом спрятал книжицу обратно, туда, откуда вынул, и пригладил на груди однорядку.

— Это он что пишет? — спросил Ершов.

— Расход, — сказал Ибрагим. — Монастырь любит знать, куда его рыба плывёт.

— Тимофей Андреевич!

Из глубины избы, от дальней печи, к нему шёл человек, раскинув руки, будто встречал родню. Было ему за пятьдесят. Он был невысок, широк в плечах, с простым крестьянским лицом и русой, чуть тронутой сединой бородой, в кафтане хорошего сукна, но без всякого щегольства. Он улыбался, и улыбка была настоящая: от неё собирались морщины у глаз.

— Лаврентий Сукин, — сказал он, обнимая Ершова, как старого знакомого. — Ну, здравствуй, здравствуй. Ибрагим сказывал, ты у Акулины ночуешь? У Акулины! — Он засмеялся. — Да что ж ты, Тимофей Андреевич. У меня горница пустая стоит. Я ж тебя звал.

— Благодарствую, Лаврентий Ильич. Не хотел стеснять.

— Стеснять! — Лаврентий махнул рукой. — Я тут один, как сыч. Жена в деревне, при поместье. Дети выросли. Мне московский человек в доме — праздник. Хоть узнаю, что там делается. Кто нынче в Разбойном? Посников всё ещё сидит?

— Сидит.

— Сидит, — с удовольствием повторил Лаврентий. — И будет сидеть. Такие сидят. — Он подмигнул. — Я ведь тоже из Разбойного, Тимофей Андреевич. Тоже сюда с грамотой приехал. По той же части.

— По сыску беглых?

— По нему. Почитай, десять лет тому назад. — Лаврентий оглядел избу, низкий потолок, челобитчиков у стены, будто проверяя, всё ли на месте. — Приехал на год. А вот видишь.

— И что ж, — спросил Ершов, — много сыскали?

Лаврентий посмотрел на него, и улыбка его на миг стала внимательней.

— Ты в книгу-то заглянул? Дьяк тебе показывал?

— Показывал.

— Ну вот. — Лаврентий развёл руками. — Сколько сыскал, столько и записал. Уезд большой, Тимофей Андреевич. Ты его ещё увидишь. — Он снова улыбнулся, по-прежнему тепло. — Ты вот что. Ты мне скажи, как ты в праздничном-то кафтане в уезд поедешь? В грязь? В лес?

Ершов промолчал. Он и сам об этом думал.

— Вот то-то. — Лаврентий обернулся и кому-то кивнул. Из-за печи вышел служка и подал ему свёрток. — Это тебе. На обзаведение. Не обижай, бери. Сукно доброе, немецкое, тёмное. Здесь портной есть хороший, в неделю сошьёт. А то у нас осень, Тимофей Андреевич, у нас осень не московская.

Свёрток лёг Ершову в руки. Сукно действительно было доброе, тёмно-серое, плотное, с ровной кромкой. Отказаться было нельзя. Взять было неловко. Ершов взял.

— Благодарствую.

— Пустое. Свои люди.

У челобитного стола Савватей снова доставал из-за пазухи книжицу. Он посмотрел на свёрток в руках Ершова, потом снова в книжицу, и записал что-то коротко, на одну строку.

— Мне на подворье, — сказал Савватей, ни к кому не обращаясь, и пошёл к двери. У двери он остановился, потому что дорогу ему загородил старый татарин в стёганом халате, с челобитной в руке. Старик что-то спросил, показывая бумагой на заднюю палату. Савватей ответил ему по-татарски, громко, уверенно, в полный голос, будто говорил с глухим, и для верности ткнул пальцем туда же, куда унесли осетра. Старик выслушал, поморгал, посмотрел на дверь задней палаты и отступил. Савватей вышел.

Ибрагим, стоявший рядом, поморщился, как от кислого.

— Что он сказал? — спросил Ершов.

— Старик спросил, как бы челобитную его поскорей прочли. А Савватей ему по-доброму: принеси, мол, воеводе в почесть. Хотел сказать — мёду. Мёд по-нашему «бал».

— Ну?

— А сказал «бала». — Ибрагим вздохнул. — Это дитё.

Ершов посмотрел на дверь, за которой скрылся старик.

— И что старик?

— Старик пошёл думать, — сказал Ибрагим, — какой из внуков у него лишний.

Лаврентий засмеялся, хлопнул Ершова по плечу и ушёл в заднюю палату. По дороге он сунул что-то в руку Ибрагиму. Ибрагим, не глядя, спрятал это в рукав.

— Это за что? — спросил Ершов, когда Лаврентий скрылся.

— За субботу. Я тебя встречал.

— Ты с меня уже взял за субботу.

— С тебя — за труды. — Ибрагим посмотрел на него ясными глазами. — А Лаврентий Ильич — за то, что встречал. Он меня не обижает.

Вечером Ершов вернулся к Акулине. Свёрток он положил в сундук, под Псалтирь, и сел на лавку с наказной памятью, чтобы ещё раз перечесть роспись. Роспись была длинная. Против каждого имени в той тетради у воеводы стояло «не сыскан».

В дверь постучали. Вошла женщина лет шестидесяти, маленькая, сухая, в тёмном платке, с корзиной на руке. Лицо у неё было тёмное и морщинистое, как печёное яблоко, а руки красные, распаренные до локтей.

— Это ты московский? — спросила она.

— Я.

— Лаврентий Ильич прислал. Портки, рубахи, что стирать. И кафтан, сказывал, в грязи у тебя.

— Не надо. Я сам...

— Сам, — сказала она без насмешки, просто повторила. Потом сняла с гвоздя его грязный кафтан, оглядела подол, поцокала языком и сложила в корзину. — К субботе принесу.

— Сколько возьмёшь?

— Нисколько. Лаврентий Ильич заплатил.

— Я сам заплачу.

Женщина посмотрела на него долгим, спокойным взглядом, каким смотрят на телёнка, который упирается у ворот.

— Заплатишь, — сказала она. — Потом. Он мне, когда приехал, тоже говорил: сам заплачу. Денег у него тогда не было ни гроша, одна грамота. Я ему полгода в долг стирала. — Она поправила корзину на руке. — Потом отдал. Не всё, но отдал.

— Как тебя звать?

— Фёкла.

Она ушла. Ершов посидел, глядя на пустой гвоздь. Потом снова взялся за роспись и прочёл первое имя, второе, третье. На четвёртом его укусил клоп, и он, не отрываясь от бумаги, хлопнул себя по шее.

Глава третья. Три «нет»

Подводу Ершову дьяк дал в среду. Подвода оказалась одной лошадьё, без телеги, под старым седлом, и лошадь эта была такая, будто её не дали, а отправили в наказание. Гнедая, вислоухая, с белым пятном на лбу и с выражением глубокой обиды на всё, что происходило с ней с самого рождения.

— Как её звать? — спросил Ершов конюха.

— Никак, — сказал конюх. — Подводная.

Ибрагим ждал за воротами на своём коне, рыжем, сытом, с заплетённой гривой. Он оглядел Ершова: праздничный кафтан, сапоги, подводную лошадь. Ничего не сказал, и это было хуже, чем если бы сказал.

Выехали из города на восход, по Арской дороге, потом свернули на просёлок. Осень стояла сухая, только утром дорогу прихватило инеем, а к полудню он растаял, и колеи заблестели. По сторонам шёл лес, светлый, берёзовый, потом начались поля: жнивье, скирды, где-то далеко человек гнал стадо. Подводная лошадь шла ровно, но в любую минуту могла остановиться и задуматься. Тогда Ершов бил её пятками, она вздыхала и шла дальше.

— В росписи у тебя какая первая деревня? — спросил Ибрагим.

Ершов достал наказную память.

— Иске Юрт. По челобитной стольника Никиты Хрущева: бежал от него в сто пятьдесят девятом году крестьянин Гришка Тимофеев сын, прозвище Лапша, с женой и с сыном, а скажут, живёт в Казанском уезде в деревне Иске Юрт у татар в рабочих.

— Скажут, — повторил Ибрагим.

— Скажут.

— Это хорошее слово. В нём всё есть.

— Что — всё?

— Кто говорил, когда говорил, зачем говорил. — Ибрагим подумал. — Только за словами человека не видеть.

К Иске Юрту подъехали после полудня. Деревня стояла на пологом склоне над речкой, дворов в двадцать. Дома за плетнями, крытые соломой и тёмом, у каждого двора высокие ворота. Дымы. Собаки, конечно, заметили их первыми и подняли такой лай, что Ершов, будь он беглым, давно бы в лес сиганул.

Староста вышел к ним сам. Высокий, худой старик в стёганом кафтане и в тюбетейке, с белой бородой, стриженной коротко. Он поклонился, приложив руку к груди, и Ершов поклонился в ответ, приложив руку к своей. Это понравилось Ибрагиму: он кивнул, будто Ершов сдал маленький экзамен.

Их провели в избу, усадили на нары, застеленные войлоком. Женщина, не поднимая глаз, принесла кувшин и две чашки. В чашках было что-то белое, кислое и холодное.

— Айран, — сказал Ибрагим. — Пей. Не пить — обидеть.

Ершов выпил. Было неожиданно хорошо.

Потом начался разговор. Ибрагим говорил, староста отвечал, Ибрагим переводил. Ершов спрашивал о Гришке Лапше, о русском мужике с женой и сыном, о рабочих. Староста слушал, кивал, качал головой и отвечал коротко.

— Юк, — сказал он.

— Нет, — перевёл Ибрагим. — Говорит, русских у них нет.

— А рабочие?

— Юк.

— Нет рабочих.

— А кто ж у вас хлеб убирал? Вон скирды какие.

Ибрагим спросил. Староста ответил длинно, обстоятельно, разводя руками.

— Говорит, сами убрали. Сыновья, внуки. Бог дал урожай, Бог дал и силы.

— Спроси, сколько у него сыновей.

— Четверо.

— Четверо, — повторил Ершов. — И вон сколько скирд.

— Ещё внуки, — напомнил Ибрагим. — Про внуков он тоже сказал.

Ершов поблагодарил за айран и вышел на двор. Дальше всё было ровно так, как он, по правде, и ждал, только ещё хуже. У колодца стояла женщина в вышитом платке и с серебряными монетками на лбу. Она была не татарка: одежда другая, говор другой. Ершов спросил её о русских, Ибрагим перевёл, и она ответила не сразу, словно подбирала слово.

— Сук, — сказала она.

— Это чуваша, — объяснил Ибрагим. — Они тут через речку живут. Тоже нет, говорит.

— Тоже «нет», — сказал Ершов. — По-чувашски.

У последнего двора на завалинке сидел русский мужик, лохматый, в рваной рубахе, и чинил лапоть. Увидев Ершова, он встал и поклонился до земли.

— Ты кто таков? — спросил Ершов.

— Бобыль, батюшка. Сенька. Здешний.

— Как здешний? Тут татары живут.

— А я при них. Скотину пасу.

— Откуда пришёл?

— Ниоткуда, батюшка. Тут родился.

— А крестился где?

Сенька задумался.

— Тут, — сказал он наконец.

— Церковь-то где здесь?

Сенька подумал ещё.

— Далеко, батюшка.

— Гришку Лапшу знаешь? С женой, с сыном?

— Нет, батюшка. Не знаю. — Сенька поклонился снова. — Нету тут таких.

Ершов постоял над ним. Сенька смотрел на него ясными голубыми глазами, полными желания помочь.

— Нет, — сказал Ершов. — По-русски.

— Три, — согласился Ибрагим. — На трёх языках. Хорошо врут, Тимофей Андреевич. Дружно.

Ершов не ответил. Он развернулся и пошёл назад, к воротам старосты. Староста стоял у ворот, будто ждал его.

— Спроси его, — сказал Ершов. — Он сказал: русских нет. А это кто? — Он ткнул пальцем через плечо, туда, где Сенька снова сел за свой лапоть.

Ибрагим спросил. Староста ответил спокойно, без запинки.

— Говорит, он сказал: нет тех русских, кого ты ищешь. А Сенька — здешний.

— Он сказал «юк», — возразил Ершов. — Одно слово. Где там «кого ищешь»?

— «Юк» — слово широкое, — сказал Ибрагим. — В нём много помещается.

Ершов посмотрел на старосту, потом на Ибрагима. Кто из них сузил ответ, когда ответ упёрся в Сеньку, — понять было нельзя. Можно было только запомнить, что сначала было одно слово, а потом стало пять.

— Впредь, — сказал он, — ты мне сперва говори, как он сказал. Слово в слово. А потом — что это значит.

— Слово в слово, — согласился Ибрагим. — Будет долго.

— Пусть.

Из-за дальних дворов, снизу, от речки, всё это время доносился звук, который Ершов слышал, но не замечал, как не замечают в городе колокола: мерный, железный, звонкий. Удар, удар, удар. Пауза. Удар.

Звук вдруг оборвался.

По деревне от речки бежал мальчишка лет восьми, босой, без шапки. Он подбежал к старосте и что-то ему выпалил. Ершов разобрал одно слово, потому что мальчишка повторил его дважды, — «Тимерче». Староста ответил коротко и строго, и мальчишка, разом притихнув, ушёл в избу.

— Слово в слово, — сказал Ершов.

— Мальчишка сказал: Тимерче ушёл, Тимерче ушёл. Староста сказал: иди в избу, не кричи при гостях.

— Кто такой Тимерче?

— Прозвище, — сказал Ибрагим. — Человек тут один. По-нашему — Железный. Мужик, значит, крепкий. Он из здешних. На охоту, видно, ушёл.

Ершов посмотрел на речку, туда, откуда шёл звук. Там, у воды, под ивами, стоял низкий сруб без окон, крытый дёрном. Над ним вился лёгкий синеватый дымок.

— Пойдём глянем.

— Пойдём, — легко согласился Ибрагим.

Сруб оказался кузницей. Дверь была открыта, внутри было темно и жарко. Горн ещё дышал красным, рядом лежали меха, на наковальне остывала подкова, только что выгнутая, ещё синеватая от огня. На гвозде висел кожаный фартук, прожжённый в двух местах. Земля у порога была истоптана большими лаптями, и следы уходили к ивам, к речке, и дальше, вдоль воды, в кусты.

Ершов поднял подкову клещами, которые лежали тут же. Подкова была добрая, ровная.

— На охоту, — сказал он.

— На охоту, — подтвердил Ибрагим.

— Не остудив горн.

— Охота — она такая, — сказал Ибрагим. — Зверь не ждёт.

Ершов положил подкову обратно на наковальню, вышел, достал из сумки дорожную чернильницу и записную тетрадь и, присев на чурбак у кузни, записал: «В деревне Иске Юрт староста сказал: русских нет; после того сказал: нет тех, кого ищут, а бобыль Сенька здешний. Есть человек, по прозванию Железной, сказывают — здешний. Сам не видан, на охоте». Он перечитал, подумал и добавил: «Горн тёплый».

Ибрагим смотрел, как он пишет.

— Зачем «горн тёплый»?

— Чтоб помнить.

— Кому это будет надо?

— Мне, — сказал Ершов и закрыл чернильницу.

Обратно ехали молча. Солнце садилось за лес, по жнивью тянулись длинные тени, и скирды Иске Юрта, сложенные четырьмя сыновьями и какими-то внуками, стояли позади, тяжёлые и золотые. Подводная лошадь шла всё медленнее. Ершов бил её пятками, она вздыхала, шла, снова сбавляла ход.

На полпути она остановилась совсем.

Ершов ударил пятками. Лошадь вздохнула. Он ударил сильнее. Лошадь подумала, подогнула передние ноги и аккуратно, без всякой злобы, легла на дорогу, в мокрую колею, вместе с седлом и седоком.

Ершов успел выдернуть ногу из стремени и остался стоять над ней по щиколотку в грязи, в праздничном кафтане, полы которого лежали в колее.

Ибрагим остановил рыжего чуть поодаль и обернулся.

- Она так всегда, — сказал он. — Её дьяк для того и даёт.
- Для чего?
- Чтоб не ездили.

Глава четвёртая. Угорел

В субботу Фёкла принесла кафтан. Он был чистый, выглаженный рубелем, и пах щёлоком и холодом. Подол, который лежал в колее под подводной лошадьё, отстирался так, будто никакой колее никогда не было.

— Как ты это? — спросил Ершов.

— Руками, — сказала Фёкла и забрала праздничный.

В воскресенье утром Ершов пошёл на монастырское подворье. Пошёл по делу: у монастыря были деревни в уезде, а там работники, и стряпчий, который записывает, куда плывёт монастырская рыба, наверняка знает и то, откуда в монастырских деревнях берутся лишние руки. Ершов шёл и придумывал вопросы. Вопросов набралось много, и все были хорошие.

Задать их оказалось некому.

Ворота подворья стояли настежь. Во дворе толпились люди: служки, какие-то бабы, мальчишки, двое стрельцов, которых, видно, кликнули с караула. Все смотрели в одну сторону, в дальний угол двора, где у самого тына стояла приземистая баня, чёрная от копоти. Дверь в баню была открыта, и возле неё на расстеленной рогоже лежал человек, накрытый тулупом. Из-под тулупа торчали босые ноги, жёлтые, с длинными пальцами.

Возле рогожи стоял плотный мужчина в овчинном полушубке нараспашку, с короткой чёрной бородой и тяжёлым лицом, и что-то говорил подьячему, который писал, пристроив бумагу на колено.

Ибрагим нашёлся тут же, у крыльца. Он был без шапки и выглядел так, будто его подняли с постели.

— Савватей, — сказал он, не дожидаясь вопроса. — Банщик утром нашёл. Угорел.

— Угорел, — повторил Ершов.

— Фрол Игнатьевич так говорит. — Ибрагим кивнул на человека в полушубке. — Губной.

Ершов подошёл ближе. Губной староста оглянулся на него, оглядел с головы до ног и узнал, хотя прежде они не виделись.

— Московский, — сказал он. — Сыщик по беглым.

— Тимофей Ершов.

— Фрол Игнатьев сын Мокеев. — Губной кивнул, как отрезал. — Тебе здесь чего?

— Шёл к нему, — Ершов показал на тулуп. — По делу.

— Опоздал. — Губной повернулся к подьячему. — Пиши: в субботу, мыться пошёл после обеда, один. Баню топили с утра, топил банщик. Угорел. Найден банщиком в воскресенье поутру. Знаков на нём нет.

Подьячий писал. Ершов присел у рогожи на корточки и, прежде чем кто-нибудь успел возразить, откинул край тулупа.

Савватей лежал на спине, в одной рубахе. Лицо у него было не синее, как Ершов ожидал, а скорее розоватое, будто он прилёг отдохнуть после пара. Жидкая бородка слиплась. Голова была цела. Ершов осторожно повернул её на рогоже: ни крови, ни шишки, ни ссадины.

— Сказано же, знаков нет, — сказал губной сверху.

Ершов взял правую руку покойного. Рука была холодная, тяжёлая. На среднем пальце, там, где перо натирает мозоль, чернело пятно чернил. А ногти на всех пальцах были обломаны, два — до мяса, и под ними темнела грязь, чёрная, как сажа.

Он положил руку обратно и поднялся.

— Можно глянуть баню?

— Чего там глядеть. Баня как баня.

— Так можно?

Губной пожал плечами. Это значило: смотри, всё равно ничего не увидишь.

Баня была старая, по-чёрному. Ершов пригнулся и вошёл в предбанник. Там было тесно, темно, пахло дымом, сырым деревом и прелыми вениками. Вдоль левой стены тянулась лавка, на ней лежали скомканные порты, однорядка, сапоги стояли под лавкой. Над лавкой были вбиты колышки для одежды, все пустые. Справа, в двух шагах от лавки, была низкая дверь в мыльню, из толстых плах, на кованых петлях. Открывалась она сюда, в предбанник.

Ершов отворил её и заглянул в мыльню. Каменка в углу, лавки, полки, кадка с водой. Под потолком, в стене, было волоковое оконце, и доска, которой его задвигают, стояла отодвинутой: оконце было открыто. Сквозь него тянуло холодным воздухом со двора. Внутри было темно от копоти и пахло старой баней, мокрой золой и чем-то кислым.

Ершов пригнулся, вошёл и заглянул в каменку. Камни были холодные. Под ними лежала зола, а поверх золы, прямо на камнях, две головешки, недогоревшие, чёрные, с белой корой на концах.

Берёзовые.

Он вышел обратно в предбанник и притворил за собой дверь. Тогда он и увидел.

С внутренней стороны, на плахах двери, низко, на высоте пояса сидящего человека, шли царапины. Много. Светлые, свежие, по тёмному, закопчённому дереву. Длинные и короткие, сверху вниз, в несколько рядов, будто скребли двумя руками.

Ершов прикрыл дверь и посмотрел на неё снаружи, со стороны предбанника. Снаружи плахи были такие же закопчённые. Но на середине нижней плахи, на уровне колена, было пятно с ладонь, светлее остального дерева: копоть там стёрлась. А в середине пятна — вмятина, неглубокая, круглая, с вдавленными волокнами, будто в дверь долго и крепко упиралось что-то тупое.

Он обернулся. Напротив двери стояла лавка, та самая, с портами. Её толстая дубовая ножка была ровно против двери. И на ножке, у самого пола, белела свежая щербина, будто в неё тоже что-то упёрлось, только снизу.

Ершов встал между дверью и лавкой и прикинул на глаз. Если взять кол в руку длиной и упереть одним концом в дверь, а другим — в ножку лавки у пола, он ляжет наискось и как раз до пятна на двери и достанет.

Он сел на лавку, прямо на чужие порты, и посидел.

— Ну, — сказал губной, заглядывая в предбанник. — Нагляделся?

— Фрол Игнатьевич, глянь. — Ершов показал на царапины.

Губной глянул. Посмотрел на них так, как смотрят на лужу, которую видели много раз.

— Скрёб, — согласился он. — Угорелые, бывает, мечутся. Голова дурная, где дверь — то помнят, то нет. Нашёл, да не открыл. Угар силу отнимает. Ты, видать, не угорал никогда.

— А это? — Ершов показал на вмятину.

— Это? — Губной наклонился, посмотрел, выпрямился. — Мало ли что в бане. Ушат прислоняли. Кадку двигали. Тут, московский, баня, а не государевы палаты. Её сто лет топят.

— А здесь? — Ершов показал на ножку лавки.

Губной даже не стал наклоняться.

— Тоже сто лет.

Ершов спорить не стал. Губной был прав в том, что каждое по отдельности ничего не значило. Скрёб, потому что ослаб. Вмятина от ушата. Щербина от сапога. Головки недогорели. Он это понимал. Но всё вместе не складывалось ни в ушат, ни в сапог.

— Головки там в каменке, — сказал он. — Берёзовые.

— Ну и что?

— Ничего. Спрошу банщика.

Губной вошёл в предбанник целиком, отчего в нём сразу стало тесно, сел рядом с Ершовым на лавку и, понизив голос, заговорил не сердито, а почти по-дружески.

— Слушай, Тимофей Андреевич. Угорел — отпоют, похоронят по-христиански, монастырь нового стряпчего пришлёт. А ежели убили — банщика первым к пытке, он нашёл. Потом служек. — Он посмотрел Ершову в глаза. — Найдут кого-нибудь. Только не всегда того.

Ершов помолчал.

— А если того?

— А того ты как найдёшь? По царапинам? — Губной встал, отчего лавка под Ершовым подпрыгнула. — Ты по беглым, Тимофей Андреевич. Вот и ищи беглых. А покойниками у нас губная изба занимается.

— А если его беглый убил?

Губной остановился в дверях. Обернулся.

— Это кто тебе сказал?

— Никто. Я спрашиваю.

Губной посмотрел на него с новым выражением: так смотрят на собаку, которая до сих пор только лаяла, а тут вдруг взяла след. Потом ничего не ответил и вышел.

Ершов вышел следом, но не к рогоже, а за угол бани. Волоковое оконце было с задней стены, у самого тына, куда со двора не видно. Под ним в грязи стоял берёзовый чурбак, на какие колют дрова. Стоял ровно, будто его сюда принесли, а не скатили. Вокруг земля была истоптана. А на нижнем краю оконца, снаружи, висел клочок пакли, серый, свалявшийся, зацепившийся за занозу.

Ершов снял его двумя пальцами и положил в тетрадь, между листами.

Банщик был мужик лет пятидесяти, лысый, мокрый, хотя баню сегодня не топили, и всё время вытирал руки о порты. Он рассказал всё сразу, торопясь, как рассказывают люди, которых ещё никто не обвинил, но которые уже понимают, что могут.

Топил он с утра, как всегда по субботам. К обеду протопил, угли выгреб, всё как положено. Оконце оставил открытым, чтоб угар вышел.

— Савватей Михайлович всегда сам оконце задвигал, когда выходило. Он у меня не первый год. Он знал.

— Головни в каменке ты оставил?

Банщик моргнул.

— Не оставлял, батюшка. Выгреб.

— Там две берёзовые лежат.

— Берёзовые? — Банщик растерялся так искренне, что Ершов почти поверил. — Я осиной топлю, батюшка. Подворью осину возят. Берёзу на поварню берут, на хлебы.

— А ты всё выгреб?

Банщик помолчал. Вытер руки.

— Всё, — сказал он, и Ершов увидел, что тот и сам уже не уверен, что именно он выгреб в ту субботу, а что ему теперь лучше бы помнить.

— Савватей пришёл когда?

— После обеда. Один. Он всегда один, без людей. С узелком.

— С каким узелком?

— Со своим. Он всегда с ним. Бельё, должно, сменное. Да не только бельё. — Банщик понизил голос. — Он книжку свою никогда не оставлял. Всё при себе. И в баню брал, в узелке.

— Какой был узелок?

— Да тряпица какая-то. Не разглядывал.

— Утром, когда нашёл, узелок где был?

Банщик задумался.

— Не было, — сказал он медленно. — Порты были. Однорядка. Сапоги. А узелка не было.

— А вечером ты в баню не заглядывал? Перед тем как уйти?

— Так я подошёл, батюшка. Как смеркаться стало. А дверь наружная на щеколде. — Банщик развёл руками. — Савватей Михайлович, как уходит, всегда на щеколду за собой. Порядок у него такой. Я и подумал: вышел, значит, давно. Я ведь не видал, но он часто, бывает, через задние ворота, к поварне. Я и пошёл домой.

— А утром?

— Утром отпираю щеколду, захожу, а дверь в мыльню прикрыта. Открыл, а он там, у самой двери. Сидит. Прислонился. — Банщик перекрестился.

— Ворота подворья на ночь кто запирает?

— Сторож, Мирон. А ключ на ночь отцу келарю относит. Кто поздно, тот к келарю стучит, келарь Мирона будит. Меня вчера Мирон и выпускал, как стемнело.

— Кроме тебя, кто выходил?

— Не видал, батюшка. Я ж домой торопился.

Ершов достал тетрадь и чернильницу, сел на ступеньку крыльца и записал. Царапины на двери изнутри, низко. Вмятина снаружи, на нижней плахе. Щербина на ножке лавки, у пола; кол наискось. Ногти обломаны. На голове знаков нет. Оконце открыто. Под окном снаружи чурбак, пакля. В каменке две головни берёзовые, а банщик топит осиною. Узелок внёс, утром узелка нет. Вечером наружная дверь на щеколде. Ворота запирает сторож Мирон, ключ у келаря.

Потом подумал и добавил: «Чернила на пальце».

Ибрагим сел рядом на ступеньку и заглянул в тетрадь.

— Ты что, Тимофей Андреевич, — сказал он тихо, — убийство ищешь?

— Я беглых ищу.

— Это хорошо. — Ибрагим кивнул. — Беглых искать — дело государево. А убийство тут искать — дело Фрола Игнатьевича. А он сказал: угорел.

— Ты сам что думаешь?

Ибрагим посмотрел на баню, на рогожу, на жёлтые ноги из-под тулупа.

— Я думаю, Тимофей Андреевич, — сказал он, — что в эту баню теперь месяц никто не пойдёт.

Ершов закрыл тетрадь. Под рубахой, на лопатке, зачесалось: ночью у Акулины клопы опять не спали.

— А мне бы помыться, — сказал он.

Глава пятая. Книжица

Савватея отпевали в понедельник, в подворской церкви, деревянной, тесной, с низкими окнами. Народу набралось больше, чем церковь могла вместить, и задние стояли на паперти, в дверях, и дальше, во дворе, под мелким дождём. Пели монастырские певчие, нестройно и громко. Пахло ладаном, мокрыми шубами и воском.

Ершов стоял у стены, справа, откуда было видно и гроб, и лица.

Лица были разные. Келарь подворья, отец Нифонт, служил вместе со священником: сухой старик с острым носом, с крупными руками, которые плохо держали кадило. Губной Фрол Игнатьевич стоял впереди, с краю, и крестился широко и редко, будто ставил печать. Дьяк приказной избы, тот, с птичьим лицом, держался у самого гроба и смотрел не на покойника, а по сторонам. Банщик стоял у двери и плакал. Ибрагим стоял на паперти: в церковь он заходить не стал, сказав, что Василий бы зашёл, а Ибрагиму там тесно.

Лаврентий пришёл, когда уже пели. Он протиснулся через толпу, встал недалеко от Ершова и перекрестился, и Ершов увидел, что глаза у него мокрые. Не слезливые, как у банщика, а мокрые просто, как у человека, который и не собирался плакать, а вот пришлось.

После отпевания гроб понесли на кладбище, за подворье, и Лаврентий пошёл рядом с Ершовым.

— Хороший был человек, — сказал он тихо. — Аккуратный. Таких тут мало. Тут все кое-как, Тимофей Андреевич, а он — каждую денежку, каждую рыбину. Скучный был, — Лаврентий улыбнулся, — а без скучных и мир не стоит.

— Давно его знали?

— Да все десять лет. Он тогда уже тут был. — Лаврентий помолчал. — Угар, Тимофей Андреевич. Каждую зиму кого-нибудь. Баню топить — тоже наука.

— Говорят, он по-татарски хорошо знал.

— Хорошо? — Лаврентий коротко засмеялся, не к месту, и тут же перекрестился. — Прости, Господи. Знал он, как знал. Громко знал. — Он покачал головой. — Ну, Царствие Небесное.

Шли молча. Дождь мелкий, холодный, сыпал на гроб и на шапки. Впереди служки поскользывались на мокрой глине.

— А ты, Тимофей Андреевич, всё у Акулины? — спросил Лаврентий, когда гроб уже опустили и стали бросать землю.

— У Акулины.

— Клопы?

— Клопы.

— Вот. — Лаврентий вздохнул так, будто это лично его клопы его огорчали. — Я ведь не о горнице только. Я о другом. Человеку на одном месте жить надо по-человечески. Дом, хозяйка. А то и баню истопить некому. — Он понизил голос. — Тут у купца Шапкина дочь. Девушка видная, хозяйственная. Шапкин человек с достатком. Он тебя в четверг к себе позвать хочет. Посмотреть просто. Посидеть.

Ершов посмотрел на него. Потом на могилу, в которую сыпали глину.

— Лаврентий Ильич. Человека хороним.

— Так я ж не сегодня зову, — удивился Лаврентий. — Я в четверг зову. Сегодня хороним, в четверг живём. Так всегда и было. — Он положил руку Ершову на плечо. — Подумай.

Келарь Нифонт принял Ершова у себя, в келарской, в маленькой жаркой палате с одним окном, заставленной сундуками. На столе лежали счёты, стояла чернильница, большая, медная, и лежала толстая книга в деревянном переплёте, обтянутом кожей, с медными застёжками.

— Садись, сыщик, — сказал келарь. Голос у него был неожиданно мягкий для такого носа. — Про Савватея?

— Про него, отче. Беглых я ищу. А он знал, кто в монастырских деревнях работает. Я к нему и шёл в воскресенье.

— Знал, — согласился келарь. — Всё знал. Кто, где, за сколько. — Он помолчал. — Кто ж теперь узнает.

— А это что? — Ершов кивнул на книгу.

— Это расходная. Монастырская. — Келарь положил на неё ладонь, будто её могли отнять. — Сюда всё пишется, куда монастырские деньги ушли. За год. Потом отсылаем в монастырь, там проверяют, пересчитывают, спросят. Старцы у нас строгие. За каждую денежку спросят.

— Это Савватей писал?

— Он. Его рука. — Келарь раскрыл книгу на середине, повернул к Ершову. Почерк был мелкий, ровный, плотный, без помарок. — Но не сюда он писал сначала. Сперва у него своя книжица была. Маленькая, в коже. Он с ней не расставался. Пошёл куда, дал кому, купил что — тут же в книжицу. А в субботу вечером садился вот тут, у меня, и из книжицы сюда, в расходную, перебеливал. За всю неделю.

— В субботу вечером, — повторил Ершов.

— В субботу. После бани. — Келарь замолчал. Палец его постучал по краю книги. — В эту субботу не пришёл.

— И ты, отче, не хватился?

— Хватился. — Келарь нахмурился, будто вопрос был ему неприятен, но справедлив. — Как к вечерне ударили, а его нет, послал Петрушку, службу. Петрушка сбегал, вернулся: баня, говорит, на щеколде. Ушёл, значит. Я и подумал: в город ушёл, к приказным. Он, бывало, по субботам ходил. А утром банщик кричит.

— Как к вечерне ударили, — повторил Ершов. — Щеколда уже была?

— Петрушка так сказал.

Ершов кивнул и запомнил. Потом нагнулся над расходной книгой.

— Можно глянуть последнее?

Келарь, поколебавшись, перелистнул. Последняя запись была на прошлой неделе. Ершов пробежал глазами: столько-то за овёс, столько-то за починку саней, столько-то подъячому за переписку, «в почесть» столько-то, «в почесть» ещё. Он перелистнул назад, на несколько недель. Глаз зацепился за строчку: «Куплено у казанского торгового человека у Ивана Шапкина сукна немецкого доброго тёмного двенадцать аршин, по рублю аршин, для раздачи в почесть, по слову Лаврентья Ильича».

Он перечёл строчку дважды.

— Это что ж, монастырь сукно в почесть раздаёт?

— А что ж ему раздавать? — пожал плечами келарь. — Сукно, рыба, мёд. Деньгами не всякий возьмёт, а сукно всякий. Лаврентий Ильич знает, кому что. Он у нас для таких дел.

— Каких — таких?

Келарь посмотрел на него внимательно, будто только сейчас разглядел.

— Для добрых, сыщик. Чтоб монастырские дела в избе не залёживались.

— Кому ж ушло сукно?

— А это в книжице. — Келарь закрыл расходную книгу и защёлкнул застёжки. — Здесь только, что куплено. А кому отдано, что, когда — это Савватей знал. Он бы в субботу и вписал.

Ершов вспомнил избу, свёрток у себя в руках и Савватея у челобитного стола, который посмотрел на этот свёрток и записал что-то на колене, одну строку. Какую, он не знал. Но догадывался. Догадку стоило проверить.

— Отче, — сказал он, — а книжицу при нём нашли?

Келарь помолчал.

— Не нашли, — сказал он. — Я одежду его сам перебирал. Однорядку, порты. Сам. Не нашли.

— А дома у него?

— Савватей мирской, у него горница на подворье, вон, через двор. Искали. Нет.

— А старые? Он ведь, поди, не одну исписал за столько лет. Перебелил — и старую в печь?

Келарь ответил не сразу.

— Не в печь, — сказал он. — Он их хранил. Где — не сказывал.

— Зачем хранил, если всё в расходной?

— В расходной, сыщик, коротко. «В почесть», и всё. А через год старцы спросят: кому, за что, через кого? А ну как кто скажет, что не брал? Или что брал меньше? — Келарь развёл крупными руками. — Савватей отвечать любил. Чтоб было чем. — Он помолчал и вдруг, будто пожалев, что начал, договорил: — Он и в этот раз хотел. К Рождеству, говорил, сам перед старцами стану. Со своими книжницами.

— Когда говорил?

— В пятницу. Вечером.

— А ты, отче, кому про это сказывал?

Келарь посмотрел на него, и на миг Ершову показалось, что тот сейчас ответит.

— Кому мне сказывать, — сказал Нифонт. — Я келарь, не сваха.

— А что ж в них было такого, отче, что их бы искать?

Келарь Нифонт встал, подошёл к окну и посмотрел во двор, где под дождём бегали служки.

— Счёт, — сказал он, не оборачиваясь. — Монастырский счёт.

Больше он об этом не сказал. Помолчал, потом обернулся, и голос у него снова стал мягкий.

— Книжица монастырская, сыщик. Ежели найдёшь — неси сюда. Не в избу. Сюда. Монастырь в долгу не останется. — Он помедлил и добавил почти отечески: — Монастырь добрых людей помнит.

Ершов посмотрел на его крупные руки, на медную чернильницу, на застёжки расходной книги.

— Благодарствую, отче, — сказал он. — Мне уже дали.

Келарь не понял. Ершов не стал объяснять.

У Акулины он открыл сундук, вынул свёрток и развернул его на лавке. Сукно лежало тёмное, плотное, доброе. Он долго на него смотрел.

Можно было отнести его обратно. Куда? Лаврентию — обидеть человека, который ничего худого пока не сделал и только что плакал над могилой. Келарю — признаться, что московский сыщик на третий день взял монастырскую почесть. Воеводе — смешно. Можно было бросить в печь. Сукно не было виновато.

На дворе было уже холодно, по-настоящему, по-осеннему. В щели тянуло. Праздничный кафтан был у Фёклы.

Ершов свернул сукно, сунул под мышку и пошёл к портному.

Портной, которого показала Акулина, жил на посаде, в двух улицах от торга. Это был маленький пожилой человек с булавками во рту, такой ловкий и быстрый, что казалось, будто его руки шьют, а сам он только присутствует. Он развернул сукно, пощупал, подул на ворс, посмотрел на просвет и прошёлся по нему аршином.

— Четыре ровно, — сказал он сквозь булавки. — Немецкое. Доброе. Шапкинское.

— Откуда знаешь?

— А у меня полгорода в шапкинском ходит. — Портной обмерил Ершова верёвочкой, быстро, не спрашивая. — Кафтан? Простой, дорожный?

— Простой.

Четыре из двенадцати, подумал Ершов. Восемь где-то ещё.

— К четвергу сделаю, — сказал портной.

— Мне не к спеху.

Портной вынул булавки изо рта и посмотрел на него снизу вверх, удивлённо.

— Как не к спеху? — сказал он. — В четверг смотрины у Шапкина. В чём же ты пойдёшь?

Глава шестая. Смотрины

Портной не обманул: в четверг утром кафтан был готов. Простой, дорожный, тёмный, с костяными пуговицами, он сидел так, будто Ершов в нём родился. Ершов повёл плечами, прошёлся по горнице, сел, встал. Кафтан был тёплый.

— На смотрины в самый раз, — сказал портной и взял за работу ровно столько, сколько Ершов рассчитывал отдать, чтобы не было неловко.

Ершов не собирался идти на смотрины. Он собирался объяснить это Лаврентию, когда тот за ним зайдёт. Лаврентий зашёл после обеда, оглядел его в новом кафтане, обошёл кругом, одобрительно поцокал языком, сказал «вот это я понимаю» и, взяв под локоть, повёл на улицу. Объяснить Ершов так ничего и не успел. По дороге он решил, что пойдёт, посидит час и уйдёт. Час был для дела: Шапкин держал работников, а Ершов искал беглых.

Ибрагим ждал их на углу торго, будто случайно.

— Ты-то зачем? — спросил Ершов.

— Мне Шапкин нужен по своему делу, — сказал Ибрагим. — Я до ворот.

Двор Шапкина стоял на посаде, за торгом, ближе к реке, и был большой. Высокий тын, тесовые ворота с резьбой, а за воротами — целая слобода: амбары, конюшня, погреба, клеть, людская изба, баня, и в глубине — сам дом, двухъярусный, с крыльцом на столбах. По двору ходили люди. Много людей. Один колол дрова, двое таскали мешки в амбар, трое чинили телегу, кто-то вёл поить лошадей. Ершов, входя, по привычке их сосчитал. Вышло одиннадцать, не считая баб у колодца.

У ворот Ибрагим задержался. Навстречу ему из людской вышла дородная женщина в цветастом платке, с румяным лицом и маленькими быстрыми глазами. Она что-то сказала Ибрагиму вполголоса, а он что-то ответил, и оба коротко кивнули друг другу, как люди, которые давно знакомы по делу.

— Это кто? — спросил Ершов у Лаврентия.

— Марфа Кузьминишна, — сказал Лаврентий. — Сваха. Лучшая в городе. Она и сосватала.

— Кого сосватала?

— Тебя, Тимофей Андреевич. — Лаврентий подмигнул. — Пока только к смотринам.

Хозяин встретил их на крыльце. Иван Шапкин был человек лет пятидесяти, высокий, грузный, с рыжей бородой, расчёсанной надвое, в синем кафтане немецкого сукна. Голос у него был громкий, торговый, будто он всё время кому-то что-то продавал через площадь. Он обнял Лаврентия, поклонился Ершову, и, кланаясь, задержал взгляд на его кафтане. Потом выпрямился и улыбнулся ещё шире.

— Моё сукно, — сказал он. — Носишь, Тимофей Андреевич? Хорошо сидит.

— Хорошо, — сказал Ершов. Других слов у него не нашлось.

— Я своё сукно за версту узнаю. — Шапкин засмеялся. — Ну, в дом, в дом.

В горнице был накрыт стол. Ершов прежде таких столов видел мало, разве что в боярских домах, куда его посылали с бумагами и не сажали. Пироги, рыба, студень, икра, мочёные яблоки, мёд в кувшинах. Шапкин усадил его под образа, Лаврентия рядом, сам сел напротив, и начался разговор, в котором Ершову оставалось только кивать. Шапкин рассказывал о торговле, о Москве, о ценах, о немцах в Архангельском городе, у которых он сукно берёт, о том, как он со своего струга на Волге за одну навигацию выручает больше, чем иной боярин с вотчины. Лаврентий поддакивал и подливал. Ершов ел, потому что еда была хорошая, а у Акулины кормили плохо.

— Работников у тебя много, — сказал он, когда Шапкин наконец остановился, чтобы выпить.

— Много, — охотно согласился Шапкин. — Двор большой. Струг. Амбары. Без рук никуда.

— Откуда люди?

— Отовсюду. — Шапкин махнул рукой в сторону окна. — Гулящие. Наёмные. Пришёл, нанялся, поработал, ушёл. Кто на лето, кто на год.

— Записи на них есть?

Шапкин поставил чарку.

— Записи? — переспросил он. — Тимофей Андреевич, гулящий человек — он вольный. Пришёл — нанялся. Чего ж его записывать?

— Гулящий вольный, — согласился Ершов. — А беглый не вольный. Как их отличаешь?

— А по лицу, — сказал Шапкин и захохотал, и Лаврентий тоже засмеялся, и Ершову пришлось улыбнуться, потому что сидел он за чужим столом в чужом сукне.

— Тимофей Андреевич у нас строгий, — сказал Лаврентий, отсмеявшись. — Ты его не сердь, Иван Степанович. Он у нас по государеву делу.

— Да я что, — сказал Шапкин. — Я по государеву делу всегда рад. — Он подлил Ершову мёду. — Ты завтра приходи, Тимофей Андреевич, хоть всех моих людей перебери. Хоть каждого спроси. Ничего не утаю.

— Завтра, — сказал Ершов.

— Завтра, — согласился Шапкин.

Ершов посмотрел в окно. Во дворе было пусто. Одиннадцать человек, которых он сосчитал у ворот, куда-то делись разом, будто их ветром сдуло. Только телега стояла недочиненная, с колесом, прислонённым к оглобле.

В сенях что-то стукнуло, зашуршало. Шапкин выпрямился, Лаврентий одёрнул кафтан. Дверь отворилась, и в горницу вошла девица с подносом.

Была она высокая, в отца, статная, лет семнадцати, в расшитом летнике и в жемчужной повязке на лбу. Лицо белое, брови чёрные, а щёки нарумянены так густо, что Ершов в первый миг подумал, не больна ли она. Потом вспомнил, что в Москве так тоже румянятся. На подносе стоял серебряный ковш с мёдом.

Она подошла к нему, поклонилась в пояс и подала ковш. Глаз не подымала.

Ершов взял ковш, поклонился в ответ и выпил. Мёд был крепкий.

— Пелагея, — сказал Шапкин с гордостью, будто называл свой лучший товар. — Палаша. Хозяйка. Всё в доме на ней, как мать захворала.

Ершов поставил ковш на поднос. Девица снова поклонилась, и, когда поднималась из поклона, на миг подняла на него глаза. Глаза были серые и очень внимательные. Глянула и тут же опустила.

— Спасибо, хозяйка, — сказал Ершов.

— На здоровье, — сказала она, едва слышно. И, уже повернувшись к двери, будто про себя, добавила: — А в Москву скоро ли?

Ершов не сразу понял, что спрашивают его.

— Как Бог даст, — ответил он.

Девица остановилась в дверях на один короткий вздох. Потом вышла, и дверь за ней закрылась тихо, но твёрдо.

Шапкин хохотнул.

— Палаша у меня бойкая, — сказал он. — Москвой бредит. Всё ей Москву подай. Кремль, говорит, хочу видеть, царицын выезд хочу видеть. — Он подмигнул. — Мы ей говорим: дура, у нас свой кремль есть. Не хочет.

— Москва не всем впору, — сказал Лаврентий и вздохнул.

После смотрин пошли пироги с вязигой, потом ещё мёд, потом пришла сама Марфа Кузьминишна и села с краю, и разговор пошёл по кругу. Сваха знала всех. Кто за кем, кто с кем, у

кого какое приданое, кто кого обманул на торгу, кто кому должен. Слушать её было, как стоять на торгу в самый шум, только приятнее, потому что сидя. Ершов слушал, сначала из вежливости, потом с интересом. Говорила она бойко, не останавливаясь, но Ершов скоро заметил, что про Шапкина, про его людей и про его дела она не сказала ни слова.

— А Савватей-то, — вздохнула она вдруг. — Царствие Небесное. В бане, рассказывают.

— Угорел, — сказал Шапкин.

— Угорел, — согласилась Марфа Кузьминишна и перекрестилась. — Оно бывает. А и не только угорают у нас. — Она понизила голос и подалась вперёд, отчего пироги перед ней чуть сдвинулись. — Вот Аграфена-то Петровна, вдова Кондратьева. Мужик её, Царствие ему Небесное, здоровый был, как бык. А в одну неделю сторел. Поужинал, говорят, у неё пирогом — и к утру отходил. А она, рассказывают, и не плакала. Месяц не прошёл — уже сама в лавке, сама на пристань, сама с приказчиками лается.

— Марфа, — сказал Лаврентий. Голос у него был негромкий, но сваха сразу замолчала. — Не надо. Пустое.

— Пустое, — легко согласилась сваха. — Это я так.

— Отчего ж пустое? — спросил Ершов.

Лаврентий посмотрел на него и улыбнулся, и улыбка была прежняя, тёплая.

— Злых языков, Тимофей Андреевич, тут больше, чем пирогов. Кондратьев от горячки помер. Я на поминках был. — Он покачал головой. — Аграфена Петровна баба крепкая, умная. Умных у нас не любят. Особенно баб.

Шапкин хмыкнул в бороду и ничего не сказал.

Ушли затемно. В сенях, у самой двери, Ершов увидел Ибрагима: тот стоял с Марфой Кузьминишной у стены, и они о чём-то тихо договаривали. Увидев Ершова, Ибрагим ничуть не смутился и вышел на крыльцо вслед за ними, как будто так и было задумано.

Шапкин проводил до ворот, обнял Лаврентия и долго тряс Ершову руку.

— Завтра, — напомнил он. — Всех людей, каждого.

— Завтра, — согласился Ершов. — Начнём с того, кто колесо чинил. Как его звать?

Шапкин моргнул. Рука его, державшая руку Ершова, на миг остановилась.

— Колесо? — переспросил он. — Это Федька. Федька Косой. Чего ж с него начинать?

— С кого-то же надо, — сказал Ершов. — Колесо недочинено.

Шапкин посмотрел на него, потом засмеялся, громко, на всю улицу, и отпустил руку.

— Федька так Федька, — сказал он. — Приходи.

Ворота за ними закрылись, и с той стороны, со двора, Ершов слышал голоса, много голосов: люди возвращались к работе.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.